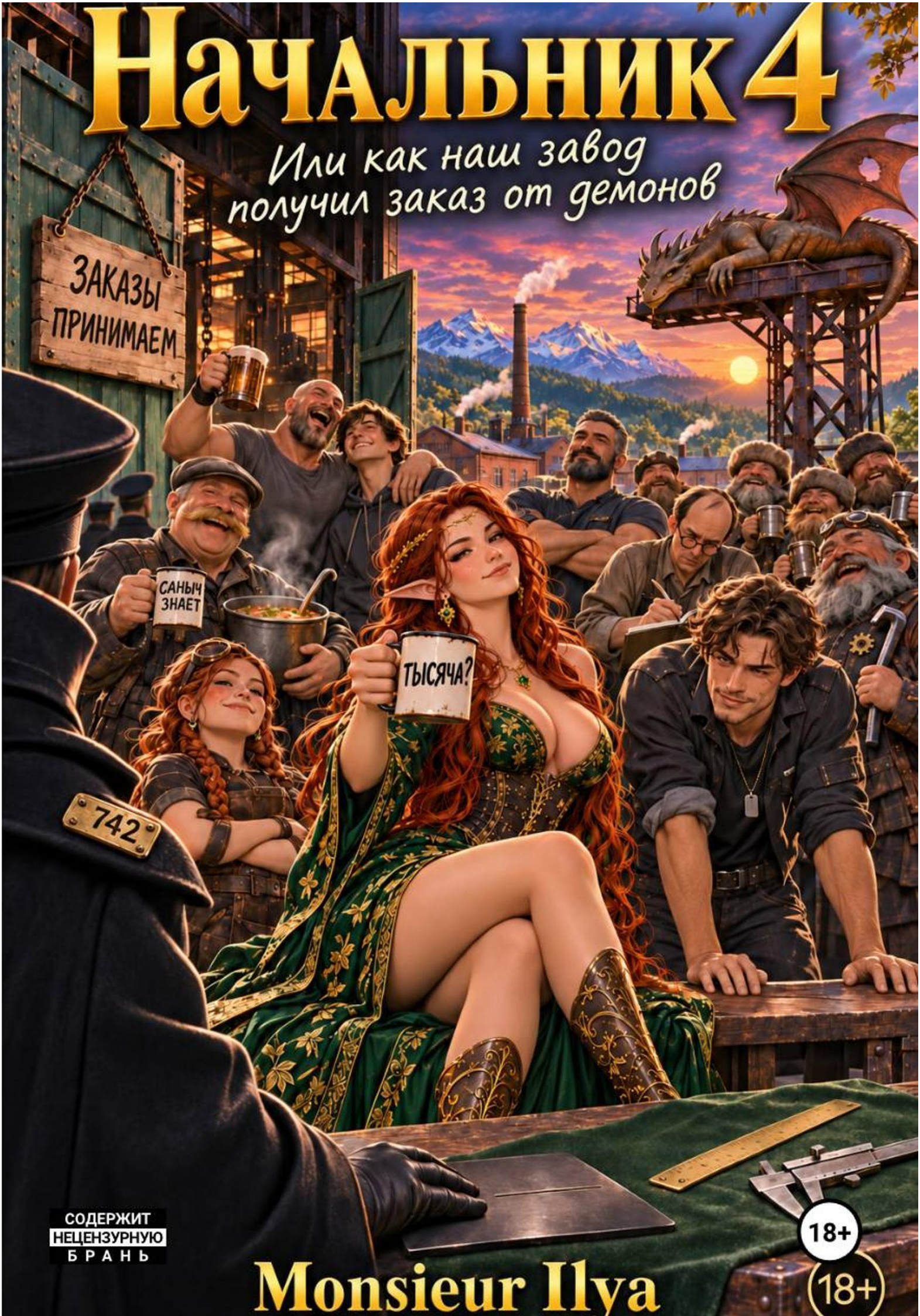
Начальник 4

Или как наш завод получил заказ от демонов



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

Monsieur Ilya

18+

Monsieur Ilya

Начальник 4. Или как наш завод получил заказ от демонов

«Автор»
2026

Ilya M.

Начальник 4. Или как наш завод получил заказ от демонов / M. Ilya — «Автор», 2026

Летать я научился, почти: сорвался на вдохе прямо в Гремучую, в ледяную воду, на глазах у королевы и всего Дола. Стас говорит, дышать надо уметь, а люди умели, и всё, что они умели, лежит в развалинах за Копанью, за дверью, которая открывается только под человеческой ладонью.Зимой туда никто не ходит, значит, пойдём мы.Дома остаются Саныч с новыми зубами, Гера с женой, которая почему-то сменила пиво на квас, и сотни бород, которым к утру нужна тёплая вода. А по нашему следу, через снег и перевалы, кто-то идёт.С этим мы разберёмся. Хуже другое: летом к воротам приедут те, кто вместо имени называет номер, и приедут с заказом.Попаданцы, производство, дворфы, эльфы и пиво. И демоны, которые всегда платят.

© Ilya M., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 11
Глава 3 17
Глава 4 23
Конец ознакомительного фрагмента. 29

Monsieur Ilya
Начальник 4. Или как наш завод получил заказ от демонов

Глава 1

Рукав я с той ночи держал опущенным.

После реки я ещё долго кашлял по утрам. Ниэллин приходила в бытовку на рассвете, садилась на топчан, клала два пальца мне на горло и слушала, глядя в стену. Я держал кашель, сколько мог, а когда не мог, она только кивала. Через несколько дней она поднялась раньше, чем я успел закашлять, и сказала, что вода вышла вся, кашель уйдёт сам и мне можно в цех. Про руку она так и не заговорила.

Гера знал, что я ночью ходил в Мошны. Знал весь двор: Хёгнин у ворот вписал в свою тетрадь, кто вышел, куда и когда вернулся, Тамми утром переписал это нашими буквами, а Славик прочитал вслух за завтраком. Славик теперь каждое утро читал вслух всю тетрадь, от Гриши с солью до Торке с овцой.

– Тём, ты к доктору ночью ходил, – подсел ко мне Гера после завтрака, с кружкой. – Это из-за руки?

– Из-за кашля, Гер.

– А руку она смотрела?

– Видела.

Гера подождал, отхлебнул из кружки и подождал ещё.

– Отвечаю, она знает, что там написано.

– Гер. Не надо.

– Понял, молчу, – объявил он и встал. – Но ты, если что, мне первому.

С того утра про руку он не спрашивал. Только раз, через два дня, у горна, глянул на мой опущенный рукав и сказал Ильде что-то по-дворфьи. Ильда, не поднимая головы от работы, ответила одним словом, и больше на рукав он не косился.

Пар в дома придумал не я. Начал Славик ещё осенью, на совете, с горячей воды. Зимой Саныч сказал, что одной горячей воды мало: вода из бака на дымоходе греет кадку, а кадка не греет дом. Дом греет печь, печи нужны дрова, а роща за ручьём у нас одна.

Морозы после ледостава встали такие, что у Хёгниных у ворот к утру смерзались бороды. Ночных своих, тех, что стоят у ворот, Хёгни ещё перед ледоставом поселил в первый готовый дом из красного за дорогой, чтобы не ходили по темноте три версты из Мошн. Так что в Мошнах печи топили день и ночь, за дорогой тоже, и роща за ручьём редела на глазах. Славик каждое утро считал возы. На шестой день он принёс мне лист в два столбца, дрова и дни до весны, и столбцы не сходились.

Только машина у нас выпускала в небо отработанный пар, тот, что уже толкнул поршень и больше ничего не мог. Летом его гоняли в сушильню, зимой в батареи цеха, и всё равно большая часть уходила вверх белым столбом над котловой стеной. А тепла в этом столбе было на всю улицу.

– Трубу. В дом и обратно, – решил Саныч. – По стене, под лавкой, чтоб грела снизу. А что остынет и станет водой, ту назад, в котёл. Котлу горячую пить легче, чем из реки.

– Погоди, Саныч, это ж вторая труба выходит, – подсчитал Славик.

– Она самая, сынок. А ты думал, вода сама назад побежит?

– Так это вдвое листа выходит, Саныч.

– Значит, Рустаму крутить вдвое. Не развалится.

Первую трубу Рустам свернул на оправке за один день, кувалдой, из рыжего листа с площадки.

Лист этот лежал под снегом с первого лета, обглоданный жуками до серого. На котёл он не годился, в нём сидели раковины. Для трубы на отработанный пар хватало и такого: давления в ней почти нет, раковину можно заварить. Рустам заварил все раковины, какие нашёл, по одной, и каждую обстучал молотком, слушая. Потом положил трубу на козлы у цеха, отошёл на шаг и долго её разглядывал, прищурившись.

– Течь будет? – спросил я. – На морозе, под землёй, через месяц?

– Нет.

– А если будет?

– Найду.

Вёл трубу Саныч, по-заводскому, с уклоном. Шланг с банками, гидроуровень, которым размечали ещё лоток, он протянул вдоль всей канавы, от котловой стены до столбов. На каждом колышке он велел Гере подбить землю, пока вода в банках не встанет как надо. В самой низкой точке, у столбов, Рустам вварил в обратную трубу отвод к стоку и посадил на него кран, снятый с батареи у конторки. Батарея у конторки была Славикова.

– Это ж моя батарея, – только и выдавил Славик.

– Была твоя, – Саныч даже не обернулся.

– Встала машина, кран открыли, – растолковал Саныч Хёгни через Тамми. – Хоть на час. Вода уйдёт, и мёрзнуть в трубе нечему. Пошла машина, закрыли.

Хёгни подумал и сказал, что его люди стоят у ворот всю ночь и всё равно пишут, кто пришёл, а кран от ворот в сорока шагах. Пусть пишут и кран. Так в тетради ворот, ниже Гриши и Торке с овцой, появилась новая строка: машина встала, кран открыт.

Благо канаву открывать не пришлось. Она лежала с осени, водяная, от бака к Гериному дому, и сверху Ильда тогда велела насыпать опилок. Бороды разгребли снег, сгребли опилки в сторону, и под ними земля оказалась мягкая, будто стояло лето. Саныч сунул в неё руку по запястье, вынул и поднял глаза на Ильду. Ильда пожала плечами: у дворфов в горах так укрывают всё, что не должно замёрзнуть.

Короб под трубу Гера сбил сам, из горбыля, длинный, с крышкой на проволочных петлях, чтобы можно было открыть и посмотреть. Опилками набил его сам, в канаву уложил сам и сам закрыл. Работал он два дня без обеда, а когда закончил, сел на свой короб и сидел на нём, пока Ильда не позвала.

Труба выходила одна в день. Рустам сворачивал её с утра, варил к обеду и к вечеру укладывал, и больше одной петли он не успевал, как ни крути. Значит, кому-то тепло доставалось сегодня, а кому-то через неделю.

Только Гера был уверен, что знает кому.

– Мой первый, – объявил он вечером, в бытовке, не сомневаясь. – Канава ко мне уже лежит, короб мой, Ильда опилки сыпала. Завтра пускаем, а послезавтра я сплю под лавкой, как кот на батарее.

Я думал над этим с утра, с того часа, как увидел у ворот бород из Мошн. Шли они на смену по морозу, белые от инея до глаз, и первым делом шли в столовую, к печи, греть руки, а уж потом в цех. Грели их по полчаса. Столовая топилась дровами из той же рощи, печь в ней была одна, и сидели у неё бороды плечом к плечу, а кому места не хватало, тот стоял. Гера с Ильдой жили вдвоём, и печь у них была своя, хорошая, Ильдина, с лежанкой.

– Первая столовая, – решил я.

Гера поставил кружку.

– Тём, канава ко мне лежит. Я её с осени копал.

– Знаю. Столовая через дорогу, рядом. Туда за день свернём. Бороды там едят, греются, сохнут. Все, Гер. А вас двое.

– Ну спасибо, Тём, – протянул Гера, и в голосе у него было столько, что Ильда, сидевшая рядом, положила ему ладонь на колено.

– Твой третий. После столовой и Хёгниных.

Гера повернулся к Ильде. Ильда не сводила глаз с меня и молчала. Потом сказала Гере что-то по-дворфьи, коротко. Гера встал и ушёл к своему коробу, к канаве, и сидел там, пока не стемнело.

Очередь Славик написал на доске и повесил её на дверь столовой, крупно, нашими буквами, а Тамми ниже переписал по-дворфьи. Столовая. Хёгнины. Гера. Бытовка и конторка. Остальное по дому в день, сколько Рустам успеет свернуть. Бороды из Мошн останавливались у доски, читали, кто умел, и пересказывали тем, кто не умел. Ормар постоял у неё дольше всех, водя пальцем по дворфьим строкам, и спросил у Тамми одно слово.

– Мошны? – перевёл Тамми мне.

– Мошнам трубы нет. Три версты, Ормар. Листа на три версты у нас нет.

Тамми перевёл. Ормар подумал, кивнул доске, будто она ему ответила, и пошёл в столовую греться.

Тогда пар в столовую и пустили, назавтра вечером. Саныч открыл задвижку у машины сам, и пар пошёл по трубе под забором, через дорогу и по канаве, вдоль Герина короба, к столбам. Мы шли за ним по снегу, слушая, как в трубе шипит и постукивает. В столовой труба выходила из земли, поднималась по стене и шла под лавками, кругом, и минут через десять под лавками затикало: железо грелось.

Когда утром бороды из Мошн пришли в столовую, как всегда, к печи, у печи сели самые старые. Остальные сели на лавки, у стен, и один, молодой, сунул руку под лавку и тут же отдёрнул, засмеялся и сунул опять. Через полчаса под всеми лавками сохли рукавицы, в два ряда, и пахло мокрой шерстью на всю столовую. Хёгни обошёл лавки кругом, потрогал трубу ладонью и ничего не сказал. Зато седой его артельный ворчал в бороду долго, дольше обычного, и Тамми, когда я спросил, что он ворчит, перевёл коротко:

– Говорит, начальник про нас подумал. Говорит, запомним.

Гера всё это видел. Стоял он у двери столовой, в одной футболке под кожухом, и не отрывал глаз от рукавиц под лавками. Потом ушёл к своему горну и до самого обеда молотил так, что Ларни дважды выходил из кузни глянуть.

Вечером Саныч подсел к нему у горна, с кружкой отвара, и долго молчал рядом. Гера бил по пустой наковальне, без заготовки, просто так, и Ларни в кузне за стеной морщился.

– Обиделся, – заметил Саныч наконец.

– Я не обиделся, Саныч. Я понимаю, что столовая, что бороды, что им по морозу три версты. Я всё понимаю. – Гера опустил молот. – Только канаву я с осени копал к себе. Короб я два дня без обеда сбивал. Ильда опилки сыпала, своими руками, по горсти. И я думал, придёт вечер, сяду на лавку, а под ней тикает. Как дома у матери. А под ней не тикает.

– Затикает.

– Знаю, что затикает. Послезавтра. – Гера посмотрел на свои ладони. – Я не про то, Саныч. Я про то, что я думал, я первый. А я третий.

Саныч отхлебнул отвара, подумал и пристроил кружку у горна.

– Тебя, сынок, Ильда греет, – сказал он. – А их только печка. Вот и вся очередь.

Гера хотел возразить, открыл рот и закрыл. Потом засмеялся, громко, на всю кузню, и Ларни за стеной перестал морщиться.

В столовой тем вечером засиделись дольше обычного. Поужинав, бороды в Мошны не спешили. Сидели на лавках над тёплой трубой и разговаривали, а кто-то из молодых затянул своё, низкое, и его не остановили. Ормар сидел у самой стены, где труба поднималась из земли,

и держал на ней ладонь, а другой рукой черенок на коленях. Хёгни ходил между лавками и считал своих: досчитал, сбился и бросил, махнув рукой, потому что никто никуда не собирался.

Тепло Гериному дому дали, как я и обещал, сразу за Хёгниными. Ильда положила ладонь на трубу под лавкой и подержала. Потом сняла с гвоздя у печки Герины портянки, которые сохли там, по её словам, с первой зимы, и разложила их на трубе в ряд.

– Теперь он их сам сушить не будет, – объявила она. – Никогда.

Гера сел на лавку над своими портянками и сказал, что будет. Ильда не ответила и молча положила рядом с портянками свои шерстяные носки.

Вечером того же дня к Гериному дому пришли Хёгнины, те, что жили за дорогой. Принесли охапку смолистых щепок для растопки, сложили у двери и ушли, ничего не объяснив. Ильда долго разглядывала щепки. Гера тоже.

– Это что? – спросил он у неё.

– Это бороды запомнили, – ответила Ильда. – Что ты ждал.

Щепки Гера в тот же вечер пустил на растопку, хотя печь ему теперь была почти не нужна, и долго сидел перед огнём на корточках, глядя, как они трещат. Потом объявил Ильде, что завтра отнесёт Хёгниным свой нож, который они просили посмотреть ещё осенью. Ильда поправила: просили наточить. Опять он всё перепутал, сказала она, и засмеялась басом, а Гера засмеялся следом, громче.

Мошны при этом остались на печах, потому что трёх вёрст трубы у нас не было и не будет. Хёгни, когда ему это сказали, только кивнул. Батареи в цеху остыли наполовину. Славик заметил это первым: приложил ладонь к батарее у конторки, той, что осталась без крана, и записал. Потом надел под рубаху вторую рубаху и ничего не сказал.

Короб первым нашёл Гоша. Снег над канавой, где короб шёл вдоль забора, стаял полосой в ладонь. Гоша спустился с опоры, прошёл вдоль этой полосы, нюхая, и лёг на неё во всю длину, мордой к воротам. Бороды из Мошн, шедшие утром на смену, обходили его по сугробу, по пояс, и ругались.

– Тепло пускает, – заметил Саныч, глядя на Гошу. – Короб.

– Саныч, – тут же откликнулся Гера, – я его два дня сбивал!

– Руки у тебя золотые, сынок. Опилок мало.

Гера пошёл за опилками. Гоша опилки пережил, но лежать на коробе не перестал ни в тот день, ни потом. Бороды в конце концов протоптали вокруг него тропу, кривую, по сугробу, и ходили по ней молча, чтобы не будить.

Уроки у горна шли каждый вечер, как Стас объявил ещё в тот день, когда уехала королева.

Обычно собирались мы в кузне у Ларни, после смены, все шестеро. Ларни сидел у мехов, Брогги, если не точил свои медные подложки, садился на чурбак у двери. Стас раздавал каждому своё. Гере держать на жести круг света, Рустаму тепло, Славику считать знаки на Стасовом листе и находить, где Стас ошибся, а Стас не ошибался, и Славик от этого злился. Санычу ничего: Саныч сидел просто так и смотрел. Мне держать.

Держать мне надо было круг на жести, обрезок в ладонь, со Стасовой чертой. Писать Стас мне больше не давал, вести тоже. Положить ладонь, подумать круг, весь, от начала до конца, и держать. И дышать.

Сам круг у меня выходил. Жесть теплела под ладонью, от запястья в левую шли иголки, во рту кислило, и держал я сколько угодно, пока не дышал. А потом надо было вдохнуть, и на вдохе круг уходил. Уходил кусок между вести и держать, там же, где на мокрой плите, и остальной круг без него не держался. Жесть под ладонью остывала разом.

– Ещё, – говорил Стас.

Я клал ладонь ещё.

Как-то вечером, когда жесть у меня опять остыла, Гера сказал, чтобы я не переживал: в реку я, в конце концов, упал от радости, а это бывает.

– Я в реку упал сам, – возразил я. – Круг был мой.

Гера хотел ответить и не стал. Саныч на своём чурбаке оторвался от огня и поднял глаза на меня.

Стас забрал у меня жесть. Покрутил её в пальцах, оглядел черту и положил на наковальню.

– Короче, Тём, я не знаю, как дышать. Ларни не знает. В листе про это ничего нет, мы смотрели.

– Каждую строчку, – подтвердил Ларни от мехов. – Нету.

– Всё, что мы знаем про писало, мы знаем с пластин, – продолжал Стас. – С тех, что привезли из развалин, с подписей по краю. Это один лист, Тём. Один. Людской. Он лежал в том зале, где потолок упал.

Он полез в карман куртки, достал Славикову тетрадь, старую, ту, с которой мы ходили зимой к развалинам, и раскрыл её на развороте с планом. Я этот план помнил. Стас перерисовал его тогда со стены у входа, резьбу, вид сверху: передняя с кружком, коридор, комнаты слева и справа, большой зал в конце. В углу зала стояла пометка, которую я тогда понял первым, потому что крыша там была плоская: лестница, вниз.

– Мы туда не дошли, – напомнил Стас.

– Там потолок лёг, – вспомнил Гера. – Ты сам Тёме орал: убирай руку.

– Потолок лёг в зале, а лестница в углу. – Стас ткнул пальцем в пометку. – Люди писали всё, подписывали по краю, номера ставили. Если внизу что-то есть, оно написано. Как дышать, когда держишь. Как вести. Куда.

– Куда? – переспросил Рустам.

– Вести – это вперёд, от того, кто пишет. А куда вперёд, она не знает. Тебя над рекой повело поперёк, по ветру, значит, ей надо сказать, куда. У людей это было. Они летали, не может быть, чтобы не было.

В кузне стало тихо. Ларни перестал качать мех, и угли в горне осели.

– Зимой, – произнёс наконец Саныч. Не спросил. Сказал, будто уже посчитал, сколько это.

– Двадцать дней туда, – отозвался Стас. – По снегу, мы ходили.

Решил я наутро, в конторке, один.

Ночью я почти не спал, хотя в бытовке было тепло: батареи цеха ещё грели. Лежал на топчане, слушал постукивание в трубе и считал то, что считать не умею: еду, дни, кого брать, кого оставлять, что будет здесь, пока нас нет. К утру посчитал одно. Если ждать весны, весной будет распутица, за распутицей лето со всеми его делами, и я опять не пойду. А дышать мне надо было научиться до того, как я опять полезу в воздух. Иначе в следующий раз будет не река.

Славик пришёл в конторку первым, с тетрадью ворот, и, увидев моё лицо, тетрадь отложил.

– Идём к развалинам, – объявил я. – Зимой. Как только санный путь встанет.

– А кто пойдёт?

– Не знаю ещё. Я. Стас. Тамми, если пойдёт. Сани Хёгни.

Славик раскрыл тетрадь, отлистал до пустого листа и вывел наверху: поход. Подумал и подчеркнул.

Саныч узнал через полчаса, как узнаёт у нас всё, ниоткуда: просто пришёл в конторку с кружкой и сел.

– Зимой, – сказал он мне.

– Зимой, Саныч.

– Хуимой.

Сказано это было чисто, без единого шипения, впервые с тех пор, как у него выпали зубы. Гера как раз входил в конторку с бухтой провода на плече. Он встал в дверях и заржал так, что бухта съехала у него с плеча.

– Вернулся! – заорал он. – Саныч вернулся!

– Я и не уходил, – огрызнулся Саныч и поставил кружку. – Ты, сынок, в прошлый раз зимой туда ходил. Помнишь, с чем вернулись?

– С писалом.

– С битым. – Он помолчал. – Ноги поморозишь, начальник. Зимой. Опять.

– Поморожу, – согласился я.

Саныч помолчал, не сводя с меня глаз. Потом взял свою кружку, встал и ушёл. Я думал, что спорить ему надоело. Но Славик потом сказал, что Саныч пошёл в кладовую и стал там перебирать мешки.

Саныча я нашёл в кладовой вечером.

Сидел он на ящике под светильником, в своём ватнике, который теперь носил только в кладовой, потому что в цеху ему было жарко, и перед ним стояли мешки. Сухари лежали у него на коленях, в рогожке, кучкой, и он брал их по одному, смотрел на свет и откладывал в мешок, а губами считал. Увидев меня, он сбился, выругался, не повышая голоса, и начал считать заново, с того места, где сбился.

– Саныч.

– Не мешай, сынок.

Я сел на соседний ящик и не мешал. Считал он долго: перевязывал мешок, брал следующий и считал снова. Когда он завязал последний и поставил его к стене, рядом с остальными, я спросил, сколько.

Ответил он, глядя на мешки, и только потом поднял глаза на меня. Такого лица я у него не видел ни разу, сколько его знаю: он был против, всё сделал сам, и легче ему от этого не стало.

Сухарей Саныч насчитал на сорок дней.

Глава 2

Резец Саныч держал в жестяной коробке на полке над станком, отдельно от всех, завёрнутым в промасленную тряпочку.

Коробку эту я видел каждый день, сколько стоит токарка, а открытой не видел ни разу. Стояла она за маслёнкой и стопкой Санычевых шаблонов, и если кто-то тянулся к полке, Саныч бросал через плечо: не там. Гера однажды не выдержал.

– Саныч, а в коробке-то что?

– Ничего, – ответил Саныч и даже не обернулся.

Домкраты были нужны под плиты.

На Стасовом листе, который он перерисовал с тетради крупно, большой зал развалин стоял на всю ширину, а в углу его, там, куда мы в прошлый раз не дошли, была пометка лестницы. Только до неё лежал потолок. Лёг он ещё до нас, плитами, одна на другую.

– Лежат, будто их нарочно сложили, – Гера, который их видел, показал руками. – Лестницей, только поперёк. Руками такую не сдвинешь, отвечаю. А ломом на палец сдвинешь и лом потеряешь.

– Поднять, – решил Саныч, когда Стас разложил лист на верстаке. – Поднять и подложить. Поднять и подложить. Как вагон на путь ставят.

– Чем? – спросил Славик.

– Домкратом, винтовым. Четыре штуки, два с одного края, два с другого, чтоб не повело. Резьба трапеция, на токарке, резцом. Накатывать даже не думай, – добавил он, глянув на Рустама. – Накатка для болта. Болт тянут, а домкрат давят. Сомнёт.

Рустам промолчал: он и не думал.

Винтовой домкрат – это винт и гайка, и больше ничего. Гайку держит корпус, винт идёт вверх, а наверху у него головка, в которую вставляют лом и крутят. Сколько провернёшь, столько и поднимешь, и держит он сам, без руки, хоть год. Так что всё дело в резьбе: она должна быть толстой, трапецией с плоской вершиной, чтобы груз ложился на всю ширину витка. На острое ребро он сядет и срежет его.

А резать трапецию умели двое. Саныч, который в последний раз резал её, по его словам, когда ещё Союз был. И Брогги.

Токарок у нас было две, и обе были заняты.

На большой Саныч точил волоки для Копани. Двенадцать в год по договору, две мы уже задолжали, и Эгиль со Славиком переписывались про эти две через Тургa так вежливо, что Славик по вечерам скрипел зубами. На малой стояли ремонт и всё остальное, что ломалось, а ломалось у нас всегда: Гера выбирал раковину в шкиве, Стас по ночам доводил Турговы мерки. Так что втиснуть между ними трапецию на четыре винта значило остановить что-то одно.

Брогги пришёл ко мне в конторку сам. Медные подложки под съёмники он доточил, съёмники ждали санного пути в войлоке на складе, и до торга, куда он собирался с обозом Тургa, у него оставалось дней десять. Он встал у двери, снял шапку и сказал по-людски, с расстановкой, как теперь говорил, что трапецию он режет. Резал у себя в Копани, на своём луке, для винтовых прессов, когда был мальчишкой. На токарке не резал, зато резец держать умеет.

– Обе заняты, Брогги.

– Знаю. – Он подумал. – Я подожду.

И он ждал. Несколько дней ходил вокруг токарок, смотрел, как Саныч точит волоку, а Гера на малой выбирает раковину, трогал станину ладонью, когда никто не видел, и уходил. В конце концов к Санычу пошёл я.

Решать за Саныча, что ему остановить, я не стал и спросил только, сколько он ещё будет точить волоку.

– Два дня. Если не дёргать.

– А если дёргать?

Саныч выключил станок, повернулся ко мне и посмотрел на Брогги, который стоял у малой и делал вид, что смотрит в окно.

– Копань ждала две волоки полгода. Подождёт ещё два дня. А этот через неделю уедет, и никто тебе трапецию не нарежет. Я умею, только рука у меня на неё старая, с Союза не резал. А у него свежая.

Он отошёл от станка, снял с полки жестяную коробку, открыл и достал резец, завёрнутый в промасленную тряпочку. Резец был короткий, с напайкой и заточкой под угол, какого я у Саныча не видел. На державке было выбито что-то, стёртое до неразборчивости.

– На трапецию, – сказал Саныч и протянул резец. – С того завода. Никому не давал.

Брогги взял резец обеими руками.

Тогда гитару Саныч набрал сам. Шестерни, которые задают шаг, у старой токарки менялись руками, поэтому Саныч просидел над ними полвечера с карандашом, пересчитывая зубья, Славик пересчитывал за ним, и они успели поругаться.

– Не сходится у тебя, Саныч.

– У меня сходится, сынок. Это у тебя карандаш тупой.

В конце сошлись. Сам винт резали из обрезка круга, что лежал ещё от муфт вала, того, что шёл и на шток машины. Брогги встал к суппорту, Саныч к гитаре, и первый же проход у Брогги пошёл чисто.

Резали они до ночи, и Брогги не торопился. Проходил, мерил шаблоном, который ему вырезал Ларни из жести, проходил снова. Саныч стоял за его плечом и молчал. Только раз, когда стружка пошла синей, он что-то буркнул, и Брогги сбавил обороты. Гайку под винт Брогги расточил на следующий день длинным резцом в борштанге, той самой, которой Рустам растачивал цилиндр машины. Вышла гайка хуже винта, но держала.

Первый домкрат поставили под валун у второго пролёта к вечеру. Валун этот бороды осенью притащили с реки под фундамент и так и не положили, потому что он в фундамент не лез. Рустам вставил лом в головку и провернул несколько раз. Валун пошёл вверх и встал на домкрате косо, всей своей тяжестью на одном краю, а домкрат под ним не шелохнулся. Рустам убрал лом и отошёл. Валун висел.

Саныч присел, провёл ногтем по витку, который вышел из гайки.

– Держит.

Брогги стоял у валуна с резцом в руке, в тряпочке, и Саныч, вставая, кивнул ему на этот резец:

– Себе оставь.

Тамми перевёл, хотя тот понял и так, по Санычеву лицу. Брогги долго смотрел на Саныча, потом завернул резец в тряпочку обратно и спрятал за пазуху, под безрукавку, к ложке.

Вечером я поймал его у ворот.

– Брогги, будет тебе своя токарка, – пообещал я. – Не сейчас. Когда своё железо будет.

Брогги кивнул и надел шапку.

Волоку для Копани Саныч доточил на два дня позже, чем обещал, и Славик, отправляя её с Хёгниным гонцом до Бочек, к Тургу на обоз, написал Эгилю письмо. Писал он его долго, стирал и писал снова, а в конце подписался по-новому, чего за ним раньше не водилось: со всем почтением.

– Это зачем? – спросил Стас, читая через плечо.

– Затем, что два дня, – ответил Славик. – Два дня – это тоже долг.

Тург пришёл первыми санями с юга, как только встал санный путь, и привёз новости из Бочек.

– Торг в Вагге через неделю, – Тург стряхнул снег с бороды. – Котельный лист в дворфьем ряду есть. Хороший. И дорогой.

Карн и Бьярг уже спрашивали у него про свои съёмники, да так, что он понял их без толмача. Брогги услышал это и вышел к саням Турга. Посмотрел, как они устроены, сколько на них можно положить, и пошёл на склад перекладывать свои ящики.

На следующий день, тем же санным путём, через мост, пришли проходчики.

Ждала их одна Ильда. Отец, когда был у нас осенью, сказал ей у горна по-дворфьи, что на зиму пришлёт четверых лучших проходчиков. Им надо было посмотреть Глухую, Хёгнину штольню за рекой, и прикинуть, сколько там руды и где её брать, не трогая стену деда. Нам Ильда тогда этого не перевела. До зимы было далеко, и отец, по её словам, любит обещать раньше, чем делать. Проходчики вышли из Хорна после ледостава, когда в горах встал наст, у Гвоздя дождались, пока встанет гать, и пришли первым санным путём.

Пришли они на двух санях, четверо дворфов из Хорна, в коротких кожухах, с кирками за спиной и с ящиком инструмента. В ящике, когда его открыли, сверху лежали клинья и отвесы на шнурах, а под ними что-то, чего ни Саныч, ни Рустам не узнали.

– Рустам, это что у них? – Саныч прищурился.

– Не видел такого.

– Вот и я не видел. Дай-ка гляну.

Когда Саныч полез в ящик рукой, Бьорк закрыл крышку и сел на неё, и больше в тот день её никто не открывал.

Ильда вышла к ним в фартуке и говорила с ними долго, по-дворфьи. Проходчики слушали её, сняв шапки, все четверо, и было видно, что для них она больше, чем дочь князя. Бьорк отдал ей письмо от отца, свёрнутое и перевязанное шнурком с медным кольцом. Ильда прочитала его тут же, у саней, коротко засмеялась басом и сунула письмо в карман фартука. Когда же Гера спросил, что пишет тесть, Ильда подумала.

– Пишет, чтобы ты ел, – перевела она. – И чтобы четверых берегли: Глухая старая, камень там злой. Остальное тебе не надо.

Когда Гера узнал, что Ильда знала про проходчиков с осени, он обиделся минут на пять.

– Ты знала и молчала? С осени? Я, значит, муж, а узнаю вместе с Тамми.

– Ты бы спросил, где их кормить, – объяснила Ильда. – С осени бы и спрашивал. Каждый день.

Гера прикинул и признал, что спрашивал бы.

– Я ем за двоих, тесть это знает, – проворчал Гера и пошёл помогать разгружать.

Ильда смотрела ему в спину и улыбалась, а проходчики, глядя на неё, улыбались тоже, все, кроме Гунна.

Старший подошёл ко мне сам. Был он невысокий даже для дворфа, коренастый, с бородой, подстриженной лопатой, и седым клином посередине, и говорил по-людски. Слов у него было, как сказала потом Ильда, с десяток, и половину он сказал мне сразу, глядя в глаза:

– Бьорк. Клин. Гроар дал. Где камень? Сколько дней?

– Камень за рекой, полдня, – ответил я. – Только сначала мне нужен другой камень. Двадцать дней туда.

Бьорк не понял и посмотрел на Ильду. Ильда заговорила с ним по-дворфьи, долго, показывая то на горы на севере, то на меня, и Бьорк слушал её, хмурясь. Потом поглядел на свои сани и на Гунна и кивнул. Вечером Ильда написала отцу, что его проходчики сперва идут с начальником, а Глухая подождёт до весны, и письмо ушло с Хёгниным гонцом. Ответ, сказала она, придёт нескоро: писать отец не любит.

По-людски Бьорк до вечера больше не говорил. Да и незачем ему было: за него говорил Хаки.

Только Хаки звали Молчуном, и это было прозвище в насмешку. Говорил он без остановки, с той минуты, как слез с саней, и до той, как заснул, и говорил всем сразу: Бьорку, Ильде, Тамми, бородам у ворот, Гоше. Тамми переводил ему первые полчаса, потом объявил, что дальше переводить не будет: половину Хаки говорит про погоду в Хорне, а другую половину про то, что погода в Хорне лучше. Тогда Хаки обиделся и стал говорить Гере. Гера слушал, кивал и отвечал по-русски. Обоих это устраивало.

Гошу Хаки увидел раньше, чем бород у ворот, и говорить стал ему: задрал голову на опору и минут пять что-то объяснял, показывая то на горы, то на себя. Гоша слушал, свесив голову с насеста, потом зевнул до самых задних зубов и отвернулся. Хаки засмеялся, ударил себя по колену и сказал Тамми, что этот дракон ему нравится: он тоже не любит, когда его перебивают.

Зато Гунн Забой не сказал за весь день ни слова. Был он выше остальных на голову и шире Геры в плечах, и, когда сани разгружали, он брал ящики, которые остальные носили вдвоём, и носил один, по два, не меняясь в лице.

Четвёртый, Траин, отстал от всех. Прошёл двор медленно, считая шаги, постоял у опоры, задрав голову на Гошу, и Гоша глянул на него сверху без интереса. Потом Траин подошёл к серой стене цеха, приложил к ней ладонь и подержал, наклонив голову к бетону.

– Держит, – перевёл Тамми его дворфье слово.

Саныч, стоявший рядом с Ильдой, хмыкнул, и по хмыканью было слышно, что ему понравилось.

– Слышит. Как я машину, – шепнул он мне. – Этот нам потолок и будет слушать.

За потолок Траин взялся в тот же вечер, в конторке, над Стасовым листом. Бьорк и Траин сели к столу, Тамми между ними. Напротив встал Гера, единственный из оставшихся, кто видел тот зал своими глазами. Руками он показывал расклад плит: одна на полу, наискось, другая на ней краем. Между ними щель, куда он тогда сунул фонарь и ничего не увидел. Траин слушал, не перебивая, и только раз спросил через Тамми, какой звук был в зале, когда они там стояли.

– Звук? – не понял Гера.

– Говорит, потолок говорит. Сверху. Сыплет или молчит, – пояснил Тамми.

Гера вспомнил, как над дверью сыпалось, когда я держал ладонь, а Стас кричал мне убрать руку, и ответил, что сыпалось.

Тогда Траин кивнул Бьорку, и Бьорк что-то посчитал на пальцах.

– Раз сыпалось, значит, ещё садится, – перевёл Тамми. – Сначала крепь, потом поднимать. Если поднимать сразу, сядет всё. На нас.

Стас глянул на пометку лестницы в углу листа и взял карандаш. Бьорк вежливо забрал у него карандаш и сам начертил по краю зала короткие чёрточки, восемь штук, с одной стороны и с другой. Это были стойки. Брёвна под них, сказал он через Тамми, рубить на месте: в стенах развалин растёт лес, Гера говорил. Гера подтвердил, что растёт и что в прошлый раз они этим лесом топили. Бьорк пересчитал стойки ещё раз.

Кормила их Ильда сама. Вечером, в столовой, за отдельным столом, поставила котёл каши, хлеб и сало и села напротив, сложив руки на фартуке, и смотрела, кто сколько ест. Гунн доедал миску за миской, и когда Ильда долила ему опять, поднял на неё глаза и открыл наконец рот, только чтобы съесть ещё ложку. Хаки ел и говорил. Траин ел медленно, слушая, будто каша тоже могла что-то сказать. А Бьорк ел и загибал пальцы. Что он считает, я понял, только когда Ильда перевела: на сколько дней нам хватит каши, если все будут есть по-гунновски.

– Сорок, – произнёс Бьорк по-людски и посмотрел на Саныча.

– Тютелька в тютельку, – подтвердил Саныч.

Список Славик начал ещё до ужина и к ужину исписал две страницы, от еды до дратвы: в прошлый раз у Геры разошлась подошва. Против каждой строки он ставил, кто отвечает.

Против брезента стояло имя Саныча, и Саныч, прочитав, сказал, что брезент он отдаст, но пересчитает, когда вернётся.

После ужина собрались в конторке решать, кто идёт.

Иду я. Идёт Стас.

– Без меня вам за дверью делать нечего, – пожал он плечами. – Людские буквы, кроме меня, читает только Ларни, а Ларни нужен горну.

Идёт Тамми, который знает дорогу по столбам и читает подошвы, и сам он, когда его спросили, ответил одним словом, тем же, что тогда в развалинах: наше. И пошёл собирать мешок. Идут четверо проходчиков, потому что потолок. Гоша прилетит сам, когда захочет, это мы знали по прошлому разу.

Гера сначала встал. Потом посмотрел на Ильду. Ильда на него не смотрела, она смотрела в стол, и Гера сел.

– Я тут. Цех. И это. – Он показал подбородком на Ильду. – Отвечаю, без меня тут всё развалится!

– Ага. Котёл первым делом, – согласился Саныч.

Рустам остался сам, его никто не спрашивал. С обозом Тургa он ехал в Ваггу выбирать лист для нового котла, а котёл без Рустама не клепает никто. Славик остался.

– Я теперь мэр, – напомнил он. – Мэр в поход не ходит. Мэр сидит и ждёт, чтобы ему было кого ругать, когда вернётесь.

Саныч остался, потому что он сказал, что остаётся, и никто не стал спорить.

Хаки всё это время говорил что-то Бьорку, а Бьорк слушал и время от времени кивал. Под конец Тамми не выдержал и перевёл одну фразу. Хаки, оказывается, весь вечер рассказывал Бьорку, что безбородые совсем без бород идут в горы зимой и что у них, наверно, мёрзнут подбородки.

Стас потрогал свой подбородок.

– Не мёрзнет, – буркнул он. – Пока.

На урок в кузню проходчики пришли сами, все четверо, и сели вдоль стены на корточки, по-дворфьи, у чужого огня. Стас их не прогнал. Круг у Геры загорелся ещё в первые вечера уроков, круглый, без всякого квадрата, и Стас тогда подвинул ему жесть обратно и велел держать ещё.

Теперь Гера заметил, что на него смотрят, и положил ладонь на свою жесть. Круг света он держал дольше, чем держал когда-нибудь при нас, и жесть горела у него белым на всю кузню, пока у Геры не вспотел лоб. Даже Хаки замолчал на полуслове. Гунн подвинулся ближе. Бьорк смотрел на Герину ладонь, потом на свою, большую, в мозолях от кайла, и долго её разглядывал.

А свою жесть я держал в тот вечер в углу, за мехами, чтобы никто не видел, как на вдохе у меня гаснет круг. Траин всё равно подошёл. Постоял рядом, послушал, наклонив голову, ничего не сказал и ушёл обратно к стене. Ларни потом передал, что Траин спрашивал у него, почему безбородый держит дыхание, будто стоит под обвалом и слушает, сыплет или нет. У проходчиков, сказал Траин, под обвалом дышат медленно и только выдыхают, а вдыхают, когда сверху тихо. Ларни это запомнил и сказал Стасу, а Стас записал на краю листа и поставил рядом вопрос.

Остальные домкраты Брогги дорезал уже один, на большой, пока Саныч был занят своим, а проходчики смотрели. Траин подходил к станку, клал ладонь на станину и слушал, как идёт резец, а потом кивал Брогги. Бьорк взял готовый домкрат, повертел, попробовал винт, поставил его под край верстака и поднял верстак вместе с тем, что на нём лежало. Опустил, посмотрел на Брогги и сказал ему что-то короткое по-дворфьи. Брогги покраснел до ушей, а Тамми переводить отказался.

На последнюю пробу вышли все. Четыре домкрата поставили под валун, по два с краю, как велел Саныч, и Рустам с Бьорком, с Гунном и Брогги крутили их разом, по счёту, который вслух вёл Бьорк, по-дворфьи. Валун пошёл вверх весь сразу, не качнувшись. Когда он поднялся на локоть, Бьорк поднял руку, и крутить перестали.

Тамми подсунул под валун бревно. Валун постоял на домкратах, потом его опустили на бревно и вынули домкраты.

Гунн Забой подошёл к нему, присел, упёрся плечом и откатил валун с бревна обратно на его место у второго пролёта, один, и даже не крякнул. Бороды у ворот, видевшие это, разом притихли.

– Гунн, – обратился к нему Бьорк по-людски и показал на валун, а потом на домкраты. – Домкрат. Зачем.

Видимо, эти два слова он держал про запас. Все засмеялись, даже Рустам. Гунн вытер руки о кожух и пошёл ужинать. Ильда увидела его в дверях столовой и молча поставила на стол вторую миску.

Домкраты Брогги смазал, завернул по одному в мешковину и сложил в ящик, и ящик понесли в кладовую, где у стены стояли мешки Саныча.

Ящик встал к сухарям на сорок дней.

Глава 3

В Бочки мы выехали затемно, на двух санях, и к полудню Турговы сани уже стояли у его лавки в железном ряду, под навесом, где у него висят замки.

Ехали все, у кого в Бочках было дело. Рустам ехал за листом, Мшарк с серебром, Брогги со своими ящиками: три съёмника в войлоке, медные подложки, его лук и мешок. Плиту Сэлинора он оставил у нас на складе, потому что Эстир лежал в другую сторону и к князю он собирался на обратном пути. Ящики Брогги ещё вчера переложил на Турговы сани у нас во дворе и всю дорогу шёл рядом с ними пешком, хотя место ему было. Славик поехал, потому что мерки считал он, Стас, потому что мерки доводил он. Гера правил Зиной, а Ильда сидела рядом с ним в Хёгниных санях, и за пазухой у неё лежало письмо к отцовым людям в Вагге.

Сам я поехал из-за обоза. Из Бочек Тург уходил в Ваггу, и всё, что я хотел сказать Рустаму и Мшарку про лист, сказать можно было только здесь. А я на днях уходил в другую сторону, на север, к развалинам, и до весны мы бы не увиделись.

Саныч остался дома. Провожая нас у ворот, он долго разглядывал ящики Брогги и Мшаркову сумку, а потом велел Рустаму не брать лист, который под молотком поёт выше, чем надо. Что это значит, не спросил никто. Рустам знал, а остальным знать было незачем.

Зимний торг в Бочках открылся, как только встал санный путь, и шёл уже не первый день. Ряды стояли в снегу, между лавками дымили жаровни, и гоблины в шапках по брови торговались над ними, не вынимая рук из тепла. Хлебный ряд пах хлебом, а железный звенел: кто-то пробовал на прилавке подковы.

Пока мы ехали, обоз Турга почти собрался: к утру выходило саней двенадцать, с железом и солью. Сам Тург встретил нас у лавки, снял рукавицу и пожал руку каждому, Брогги тоже, и Брогги от этого покраснел.

– К открытию в Вагге мы не поспеем, да и не надо, – предупредил он, едва мы сели к его жаровне. – Лист в дворфьем ряду лежит и после торга. А после торга он дешевле, потому что кто не продал, тому его назад в гору тащить.

Мшарк, услышав это, улыбнулся и тут же спрятал улыбку в воротник.

Стол меры Тург держал теперь новый, вместо того, что подарил нам на свадьбу. Сбит он был из дуба, на козлах, под отдельным навесом в конце ряда, и сукно на нём лежало зелёное, вытертое на середине. На сукне лежали его скобы, гири и наша первая скоба-образец, к которой он прикладывал всё, что ему приносили.

У стола нас ждали.

Двое молодых мастеров из Вагги, те, что осенью приходили к Тургу за мерками, зимовали в Бочках с тех пор, как получили их. Гать за ними села, и домой до санного пути им было не проехать. С ними ждал и третий, из Бочек, совсем молодой, с подпалённой спереди бородой. Мерки висели у всех троих на ремнях, в кожаных чехлах, и старший держал на своей руку.

При себе у троих были не все мерки. Остальные лежали в ящике в Турговых санях: их молодые везли в Ваггу своим, тем, кто давал деньги вперёд.

– Ждут не одни. – Тург мотнул бородой на трактир напротив ряда. – Гильдия тоже ждёт.

Гильдия пришла к столу через час, и ряд притих раньше, чем они подошли.

Шли трое старых мастеров, в тёмных кафтанах до колен, с медными бляхами гильдии на груди. Гоблины у жаровен встали. Бочкинские торговцы у Турговой лавки сняли шапки и поклонились, неглубоко, по-торговому. Только Тург кланяться не стал и положил ладонь на край своего стола. Молодые мастера шапок тоже не сняли, зато разом отступили от стола на шаг.

Впереди шёл Кольбейн, гильдейский мастер Бочек, тот, кто держит здесь меру ряда. Был он широкий, с бородой в две косы, перехваченные медными кольцами, и глядел на всех чуть

свысока, хотя ростом был ниже Тургa. По-людски он знал слов двадцать. Так что остальное за него говорил Тург, без нажима и без удовольствия.

Кольбейн заговорил долго. Тург перевёл коротко.

– Обоз уходит в Ваггу, говорит, и мастера везут туда мерку, которой гильдия не видела. Гильдия хочет видеть: сверить по пальцу гильдии, при всех. Если сходится, гильдия так и скажет. А на холоде руки дрожат, поэтому мерить он зовёт в трактир, к печи.

Молодые переглянулись. Старший что-то буркнул по-дворфьи и первым пошёл через дорогу.

В трактире было жарко и тесно, пахло пивом и мокрой шерстью. Кольбейн сел за длинный стол у печи, лицом к залу, и вынул из-за пазухи свёрток в замше. Внутри лежал палец гильдии, тёмный бронзовый стержень с насечками в две ладони длиной и клеймом на торце. Сверяли его с ваггским набором прошлой зимой, объяснил Тург, и с тех пор Кольбейн его из рук не выпускает.

Тогда молодые сняли мерки с ремней и положили перед ним в ряд. Стас сел рядом с Кольбейном без спроса и положил на стол свою лупу.

Взяв первую мерку, Кольбейн приложил к ней палец, черта к насечке, и подвинул лупу молодому мастеру, чтобы тот глядел сам. Пока молодой глядел, борода у него медленно опустилась на грудь.

Черта на мерке и насечка на бронзе разошлись на волос. Когда очередь дошла до меня, я увидел это сам: между ними светилась нитка сукна, тоньше конского волоса, но светилась. На второй мерке нитка была та же, и на третьей.

Тут в трактире заговорили все сразу, кроме старых мастеров у печи и самого Кольбейна.

Потом Кольбейн сказал, что по правилу гильдии мерка, которая не сходится, идёт в переплавку. Тург перевёл и замолчал. Молодые стояли над своими мерками и не трогали их.

Тогда Кольбейн повернулся ко мне. Теперь он говорил мягче и дольше, а Тург, переводя, ни разу не поднял на меня глаз.

– Гильдия заводу не враг, говорит. Мерки у вас почти хорошие, руки хорошие, только с бронзой их сводить вы не умеете, и гильдия может взять это на себя. Все ваши мерки, какие есть и какие будут, пойдут через гильдию. Гильдия перебьёт насечку по своему пальцу, поставит рядом с вашим кружком своё клеймо и продаст сама, по гильдейской цене. Заводу треть.

Мшарк, сидевший у меня за плечом, наклонился к самому уху.

– Треть гильдейской цены больше, чем вся наша, – прошелестел он. – Я посчитал. С двадцати мерок вышло бы больше, чем мы взяли за двадцать.

Считал он верно, Мшарк в счёте не ошибается, но думал я про другое.

Первая скоба, лазерная, сошлась с медным пальцем Дреска до волоса, на съезде, весной. Каждую мерку Стас клал на первую под лупой, ночью, у малой, пока света между ними не оставалось нигде. Выходило, что если за этим столом что-то и разошлось, то разошлось оно где-то помимо мерки. Где, я не знал, зато видел другое: если сегодня поставить рядом с кружком чужое клеймо, через год цену будет называть гильдия. Она же будет решать, что сходится, а что нет. И Тургов стол станет её столом.

– Мерки с нашим кружком под чужое клеймо не пойдут, – ответил я. – Ни эти, ни следующие.

Кольбейн, когда Тург перевёл, и спорить не стал, только вежливо развёл руками.

Молодые глядели на меня так, что отвечать им надо было сейчас, пока они не ушли из трактира без мерок. Я встал, чтобы меня видел весь зал.

– Тург, переведи им слово в слово. Каждая мерка с номером, и номер записан у Славика, у кого какая. Тургов стол стоит в ряду открытый: любой мастер может принести к нему свою бронзу и мерить при всех, даром, хоть каждый день. Если наша мерка с вашей бронзой разой-

дётся на одном столе, на одном холоде, при свидетелях, Тург меняет её даром, а завод платит хозяину вдвое против того, что он за неё дал.

Мшарк у меня за плечом коротко втянул воздух сквозь зубы.

Тург переводил медленно, слово в слово, как просили. Молодые слушали не шевелясь. А Кольбейн, дослушав, засмеялся в бороду.

– На одном столе он и мерил, говорит, – перевёл Тург и постучал пальцем по столешнице.

Славик за всё это время не проронил ни слова. Сидел он в конце стола, с тетрадью, где против каждого номера стояло имя мастера, и смотрел на Кольбейнов кафтан, на то место на груди, откуда Кольбейн доставал свёрток. Потом снял очки и подышал на стёкла.

– Тём, палец у него за пазухой лежал. Всю дорогу, пока шли, в тепле. А мерки висели на ремнях, на улице, с утра. – Он надел очки и уставился в тетрадь. – Медь в тепле длиннее, бронза тоже. Мы на щите летом медную шину подтягивали, она за день на жаре уходила, а к ночи опять садилась. Сталь тоже уходит, только меньше.

– И что?

– А то, что мерки я сверял во дворе, на ящике, на морозе, со Стасом и с первой скобой. А первую клали к гильдейской бронзе на площади, на холоде, и она сошлась. – Славик снял очки совсем и положил их на тетрадь. – Я знал, что в тепле бронза уйдёт от стали. Думал, мерить будут на площади, как в Вагге, и не сказал никому. Ни тебе, ни Тургу.

– Короче, выносим, – решил Стас, уже поднимаясь и сгребая мерки в ладонь. – Бронзу и мерки на Тургов стол, под снег. Пусть час остывают вместе, потом там же и мерим.

Когда Кольбейну перевели, он перестал смеяться и заговорил быстро, сердито. Тург, переводя, не удержал в голосе усмешки.

– На морозе бронза врёт, говорит. Мерить положено в тепле, так спокойнее.

Ответил ему не я.

В дверях трактира, куда я не смотрел, стоял старый дворф, сухой и седой, в кафтане, наглухо застёгнутом под бородой, с ожогом на левой кисти. Сколько он там простоял, не знал никто. Писарь за его спиной держал в руках стул.

Дреск, оказывается, тоже застрял в Бочках: гать села и за ним, и домой он ехал с этим же обозом.

Кто ещё говорил, замолчал. Старые мастера у печи встали. Встал и Кольбейн, неловко, задев стол животом, и бронзовый палец покатился по столешнице, пока его не поймал Стас.

– Стол меры в Вагге стоит на площади, – произнёс Дреск по-дворфьи, тихо, не моргая, и Тург перевёл ещё тише. – Зимой. Сорок лет стоит.

Больше он ничего не добавил. Писарь поставил стул у двери, и Дреск сел.

Час на морозе тянулся долго, и ждал его весь ряд.

Мерки и бронзовый палец лежали рядом на Турговом сукне, на краю стола, под навесом, и на них сыпался мелкий сухой снег. Кольбейн от своего пальца не отходил, Стас стоял напротив. Пока молодые мастера кружили у стола, вокруг них понемногу собрались торговцы, гоблины, возчики из обоза, бочкинские кузнецы. Про спор, которого никто не заключал, ряд уже знал: у жаровен говорили, что начальник обещал вдвое.

Мшарк всё это время молчал рядом со мной. Только раз он вынул из сумки книгу, раскрыл на чистой странице и убрал обратно.

– Если разойдётся, двадцать мерок вдвое, – прошелестел он, не поворачивая головы. – И это только проданные.

– Сойдётся.

– Вы не знаете.

– Я знаю, кто их доводил.

Подумав, Мшарк улыбнулся одним углом рта.

За этот час Гера успел купить валенки.

Свои, чёрные, с ёлочкой и ромбами, он носил вторую зиму, и пятки у них протёрлись так, что Ильда велела брать новые, пока мы в Бочках. Лавку с валенками держала в шерстяном ряду дворфиха, круглая, в трёх платках, по-людски не знавшая ни слова. Поэтому Гера решил торговаться сам. По-дворфьи он знал теперь много: всё, чем можно ругать бород у горна, и немного того, чем Ильда ругала его. Он взял пару, помял её, показал на дыру в своей пятке и уверенно, на весь ряд, сказал хозяйке одно слово.

Хозяйка просияла, сняла с жерди вторую пару и завернула обе вместе.

– Я же сказал: дешевле! – Гера держал свёрток обеими руками и не понимал, откуда он взялся.

– А попросил ещё пару, – поправила Ильда и засмеялась басом, так что гоблины у жаровни обернулись.

Вторую пару Гера отдавать не стал. Заплатил за обе, поторговавшись ещё раз, уже на пальцах, и выторговал назад горсть резаней. Ильда смеялась до самого Тургова стола.

Когда у стола стало тесно, Тург поднял руку, и ряд затих.

Кольбейн взял свой палец с сукна. Бронза побелела от инея, и он обтёр её о рукав. Стас подал ему первую мерку, тоже в инее. Приложив палец, черта к насечке, Кольбейн долго держал их у самых глаз, по-стариковски, без лупы, хотя Стас положил её рядом. Потом подвинул мерку и палец старшему из молодых.

Старший смотрел ещё дольше. Наконец поднял голову и что-то коротко бросил по-дворфьи, и Тург переводить не стал, потому что перевода не требовалось.

Сошлось.

С остальными вышло то же: молодые клали свои одну за другой, сами, а Кольбейн держал палец и больше не говорил ничего. Бочкинские кузнецы проталкивались к столу и заглядывали через плечи. Один снял с ремня свою старую скобу, купленную у Турга ещё весной, и попросил приложить. Сошлась и она.

Дреск сидел на своём стуле под навесом соседней лавки, куда писарь перенёс стул из трактира. Он не сводил глаз со стола меры и снега с плеч не стряхивал.

Ильда была тут же, у Турговой лавки. Поймав его взгляд, она чуть наклонила голову, на палец, при всём ряду. Дреск ответил ей тем же.

У жаровни охнул кто-то из Хорновых возчиков, и это услышали все, так тихо было в ряду. Хорн и Дреск всю жизнь просидели друг против друга за ваггским столом меры, и в Бочках такого не видел до сих пор никто.

Потом Дреск поднялся со стула и подошёл к столу. Кольбейн отступил на шаг. Взяв у него бронзу, Дреск повертел её, приложил к первой мерке, как прикладывал на съезде к нашей скобе, и вернул Кольбейну в руки.

– Мерить будем тем, что сходится, – произнёс он, глядя на молодых.

Сказал он это по-людски, для меня.

Торговали у Тургова стола до темноты.

Двадцать мерок Тург назвал проданными окончательно и снимать с меня ничего не стал. Потом к столу подошли все трое молодых, и старший долго и тихо говорил с Тургом. Выслушав, Тург ответил коротко и отвязал от пояса кошель.

– Ещё двадцать, вперёд. Они дали мне, я даю вам. – Тург положил кошель передо мной на сукно, туда, где час назад лежали мерки. – Только вперёд они дали за твоё вдвое, начальник. Ты при всём ряду пообещал платить вдвое, а кто так обещает, тот знает, что платить не придётся. Это они поняли раньше, чем пошли мерить.

Только Кольбейн ушёл к трактиру, с двумя своими. Бронзу он снова убрал за пазуху, и Славик смотрел ему в спину, пока за ним не закрылась дверь.

Славик долго сидел над тетрадью, где против двадцати новых строк стояли пустые места под имена, и тёр очки о рубаху. Потом записал в неё новую строку, отдельно, сверху страницы, и показал мне. Строка была одна: мерить на одном холоде. Подчёркнуто дважды.

Вечером, в задней комнате трактира, при свече, я сел с Рустамом и Мшарком.

Мшарк разложил на столе Сэлиноровы мешки, перевязанные шнуром, и пересчитал вслух, тихо, с присвистом, сколько уходит в Ваггу. Остальное оставалось в Доле, Славику, на плату бородам до весны и на то, что встанет.

– Лист берёте котельный, дворфий, на сколько хватит денег. Только дороже вот этого не берёте.

Предел я назвал одним числом. Мшарк записал его в книгу и подчеркнул.

– Если на всё не хватит, сначала трубная доска, толстый. Обечайку можно добрать потом, а доску из нашего рыжего не сделаешь.

Рустам всё это время молчал и смотрел в свечу.

– Брать у Хорновых, по Ильдиному письму, даже если у других на марку дешевле. Ильда пишет отцовым людям в ряду, чтобы показали лучший. Хорн нам ещё волоки, прут и болты на весну.

– Они каждый мешок мерят, – напомнил Мшарк.

– И правильно. Мешки у нас сходятся.

Мшарк записал и это.

– Берёте только тот лист, что Рустам простучал, каждый, по одному. Чего Рустам не простучал, того не берёте, будь на нём хоть клеймо самого Гроара. Векселей не даёте и в долг не берёте. Только серебро, из рук в руки.

– А если спросят мерки? – Мшарк поднял глаза от книги.

– Мерок не продаёте, ни одной, ни за какие деньги. Кто спросит, того к Тургу. Тург в Вагге будет стоять у своего стола, пусть к нему и идут, при всех, на холоде.

Тут Рустам наконец оторвался от свечи.

– Заклёпочное железо.

– У тех же Хорновых. Заклёпок на котёл мы своих не накатаем, ты сам говорил.

Рустам кивнул. Мшарк дописал, поставил под всем этим закорючку, развернул книгу ко мне и подождал, пока я поставлю кружок.

– Когда назад? – спросил я.

– Недели через три, – ответил Рустам. – Вас ещё не будет.

Больше в тот вечер про лист не говорили. Мшарк убрал серебро, Рустам ушёл к саням проверить, как увязаны ящики Брогги, хотя увязывал их Брогги сам. А я ещё долго сидел над пустой кружкой, пока Гера не пришёл и не увёл меня спать.

Обоз уходил затемно, по скрипучему снегу.

Перед уходом Брогги обошёл Турговы сани и прочитал вслух надписи на своих ящиках, по букве. Надписи на них писал Славик, крупно, нашими буквами, и Брогги читал их по Тамминой науке: пальцем под буквой, губами каждую. КАРН. БЬЯРГ. На третьем ящике он застрял, потому что слово было длинное, и Тург с вожжами в руках ждал, не торопя. СОЛЕВАРНЯ. Дочитав, Брогги выдохнул, будто донёс ящик до самой Солеварни на руках, и сел в сани поверх войлока.

Рустам подошёл ко мне последним и встал рядом, в своём кожухе, пока Тург проверял постромки.

– Артём Сергеевич. Наказ я запомнил.

– Знаю.

– Котёл начну без вас. Опрессовку без вас не дам. – Подумав, он добавил: – Если лист будет.

Тут Ильда отдала ему письмо из рук в руки и что-то сказала по-дворфьи, коротко. Рустам спрятал письмо за пазуху, под кожух.

Мшарк сидел в санях у Турга за спиной и держал сумку на коленях обеими руками. Последними шли чёрные сани Дреска. Сам Дреск ехал на своём стуле, привязанный ремнями, под меховым пологом, и, проезжая мимо нас, головы не повернул. Зато писарь на облучке приподнял шапку.

Обоз ушёл на восток, к гати. Скоро за последними домами затихли и сани Дреска, хотя медная оковка на их полозьях звенела громче всех.

Домой мы поехали сразу, впятером, со Славиковой тетрадью и Турговым кошелем у Стаса за пазухой. Гера правил Зиной. Через пару дней я уходил на север, и всё, что я мог сделать для котла, я сделал вчера при свече.

Вторые валенки Гера вёз на коленях.

Глава 4

Метель застала нас в скалах и держала там двое суток.

Пришла она не сразу. Сначала с перевала потянуло по льду низкой змеиной позёмкой, она шуршала у полозьев и забивалась Зине в бабки. Потом небо над ущельем побелело и опустилось, и скалы по обе стороны стали серыми, без теней. А к полудню снег пошёл сразу со всех сторон, и снизу тоже, и я перестал видеть Траина, который шёл первым, в десяти шагах.

Бьорк остановил сани, не дожидаясь, пока его попросят.

Сани нам Рустам готовил за два вечера до Бочек, пока Брогги резал домкраты. Взял наши, Хёгнины, на которых мы в прошлую зиму ходили в Копань, и полозья на них подбил полосой мягкого железа, по всей длине, на гвоздях с утопленной шляпкой. Сталь он брать не стал нарочно.

– Давай сталью, Рустам, – предлагал Гера. – Сталь же крепче, отвечаю.

– Сталь на морозе колется, – объяснил Рустам. – Мягкое гнётся. Погнулось – выправишь. Лопнуло – выбросишь.

Запасной полоз, уже подбитый железом, Гера вытесал из ясеня на навесе и привязал под днище, вдоль. Сани от всего этого стали тяжелее, зато по укатанному пошли так, что Зина, впрягшись, удивлённо оглянулась.

Собирались мы два дня, и собирал нас Славик. Лист у него разросся, и против каждой строки было вписано имя. Еда на сорок дней, Санычевы сухари в мешках, сало, крупа, лук, соль. Четыре ящика под книги, пустые, лёгкие, с крышками на петлях и войлоком внутри: их Славик заказал Гере ещё до Бочек и проверял крышки по одной. Промасленный брезент, верёвки, топоры, лампа и масло к ней, лупа и тетрадь Стаса, иголки с дратвой. Домкраты в ящике, в мешковине. Брёвна под клеть Бьорк брать не велел: посчитаем на месте, лес там есть.

Саней вышло двое. Наши, с Зиной, и Хорновы, те, на которых проходчики пришли из Хорна, с их коньком, низким и мохнатым, с бородой под мордой, как у хозяев. Конька звали длинно, по-дворфьи, и Хаки повторял нам его имя, пока Стас не сдался.

– Короче, будет Ёрш, – решил он и записал на доске у Тамми одно слово. – Похож. И колючий.

На проводы у ворот вышел весь двор.

Хёгнин с ломом снял с гвоздя тетрадь и вписал в неё углём, кто уходит, а бороды из Мошн встали вдоль дороги. Шапок сегодня никто не снимал, стояли и смотрели на сани. Сам Хёгни подошёл к нашим саням последним. Обошёл их кругом, присел у полоза, постучал по железу ломом, послушал и выпрямился.

– Сани ваши, – объявил он. – Цену я весной скажу, как и говорил.

– Я помню, Хёгни.

– Я тоже помню. – Он поглядел на меня, и в бороде у него что-то дрогнуло. – Ты привези их. Сначала привези, потом цену.

Саныч принёс мешок.

Хотя мешок был тяжёлый, что в нём, Саныч не сказал. Отдав его Стасу, он помедлил, потом залез в карман ватника, который надел ради проводов и в котором ему было жарко, и достал бутылку, заткнутую тряпкой. Бутылку он отдал мне, из рук в руки.

– Лекарство, – растолковал он. – От Славика, осенней варки, на ноги. Помороженные ноги, сынок, мажут жиром, а лечат вот этим. Изнутри.

– Ты же против был, Саныч.

– Я и сейчас против. – Он сам застегнул на мне кожух до горла. – Против я тут, при котле. А там ты. Ноги береги.

Гера всё утро ходил за Тамми со свёртком под мышкой. У ворот наконец догнал, развернул свёрток и сунул ему в руки вторые валенки, те, что купил в Бочках по ошибке.

– На, запасные! Твои сапоги до перевала не доживут, отвечаю.

Тамми перевёл глаза с валенок на Геру, потом на свои сапоги, подшитые где только можно, и прижал валенки к груди.

– Тамми отдаст. Весной.

– Не отдашь. Они тебе на два пальца велики, а мне на три малы. Носи.

Ильда, стоявшая рядом, засмеялась басом, и Гера покосился на неё и тоже засмеялся.

Ниэллин пришла к воротам из Мошн, когда сани уже были запряжены. Ни о чём не спрашивая, она положила мне два пальца на шею, под ухом, подержала, потом велела кашлянуть, послушала и кивнула сама себе. В руки она мне сунула горшочек, завязанный тряпкой.

– Сие на ноги, – объяснила она. – Не на кожу, под портянку, на шерсть. Жир держит тепло, пока сухо. Мокрое снимать сразу, хоть в снегу.

Саныч, услышав про жир, хмыкнул, но спорить с ней не стал и своё лекарство назад не попросил.

Ларни стоял у кузни в фартуке и к воротам не подходил. Только когда Стас пошёл мимо, Ларни поймал его за рукав и отдал свёрнутую бересту. На бересте, мелко, в два столбца, шли людские буквы и рядом дворфьи, как он писал их Стасу весной, и под ними десяток старых слов, которые Ларни знал от деда и которые в людских книгах могли встретиться. Стас развернул, прочитал верхнюю строку и спрятал бересту за пазуху.

– Там половину я сам не знаю, – предупредил Ларни. – Но с ней легче.

Славик отдал Стасу лист, чистый, сложенный вчетверо, и карандаш. Сверху, на первой строке, было написано его мелким почерком одно короткое слово и подчёркнуто.

– Пиши, что увидишь, – велел он. – Какая дверь, какие полки, сколько книг. Всё.

– Сниму, – начал было Стас, вспомнил, что телефон без провода не живёт, и замолчал.

– Пиши, – повторил Славик.

Тут Гоша приподнял голову над насестом, оглядел сани и мохнатого Ёрша, который Гошу видел впервые и встал как вкопанный, и снова уложил морду на лапы, так и не спустившись вниз. Ормар у ворот держал черенок поперёк груди и, когда сани тронулись, поднял черенок вверх, один раз, и опустил.

Поехали мы по Гремучей, по льду, как в прошлый раз, мимо колеса, вмёрзшего по ступицу, мимо порога, по вешкам из лозы. Ормар шёл за санями до самого порога и там отстал, а у последнего поворота я оглянулся и увидел, что он стоит на берегу и смотрит нам вслед. Когда я оглянулся ещё раз, его уже не было.

Проходчики сани не любили.

Сначала я думал, что им неловко сидеть, пока конёк тянет. Потом понял: не любят они сам ход, скольжение, когда под тобой нет камня и ты не знаешь, куда тебя понесёт. Так что на сани проходчики не садились ни разу. Шли рядом, по обе стороны, широким медленным шагом, и Бьорк время от времени клал руку на борт саней. Гунн шёл за санями и, когда на подъёме Зина садилась на задние ноги, молча упирался плечом в задок, и сани шли. Траин шёл первым и слушал лёд. Зато Хаки шёл с краю и говорил.

Говорил он Зине. Зина его не понимала, только слушала, и Хаки это, судя по всему, устраивало больше, чем Тамми, который скоро заявил, что переводить больше не будет ни слова: всё, что говорит Хаки, Хаки уже говорил вчера.

– О чём он? – спросил я.

– О погоде в Хорне. Что там лучше, – вздохнул Тамми.

Потом реку зажали скалы, дорога ушла на лёд и пошла по нему узко, между двух стен, в одни сани. Лёд здесь был синий, чистый, и под ним, глубоко, было слышно воду. Траин шёл по нему, наклонив голову, и время от времени присаживался и клал ладонь. Когда он однажды

поднял руку, Бьорк сразу остановил сани. Траин что-то сказал, показал вправо, к скале, где лёд был белее и толще, и сани взяли вправо.

Там, где мы не пошли, лёд через полсотни шагов кончался. Посреди русла, под синей коркой, чернела промоина, длинная, с телегу, и над ней курился пар: под скалой била тёплая вода и съедала лёд снизу. С саней её видно не было, разглядели мы её, только когда прошли мимо, по белому, у самой скалы.

Стас долго смотрел на промоину через плечо.

– Он её слышал, – сказал он мне шёпотом. – Тём, он её через лёд слышал.

Траин, если и услышал Стаса, не обернулся.

Встали мы там, где Бьорк остановил сани, у скалы, под нависшим выступом. Ветер бил мимо. Проходчики поставили сани бортом к ветру, одни за другими, натянули поверх брезент и придавили края камнями, которые Гунн выворачивал из-под снега голыми руками. Получилась низкая тёмная нора, в которую влезли все семеро, и Хаки, влезая последним, стукнулся головой о борт и выругался так, что Бьорк засмеялся в голос, чего мы от него ещё не слышали.

Зина и Ёрш стояли с подветренной стороны, вплотную, накрытые попонами, и Тамми каждые полчаса вылезал к ним стряхнуть снег. Вылезал он в Гериных валенках, которые были ему велики, и каждый раз возвращался с полными валенками снега. Вытряхивал он их у входа под ругань Хаки, но разуваться не соглашался ни за что: валенки были подарок.

Огня под брезентом мы не разводили. Бьорк запретил коротко, и Тамми перевёл: угорим.

Грелись по-дворфьи, боками, сидя тесно, плечом к плечу, и ели сухари Саныча с салом, холодные. К утру у меня затекла нога, а вытянуть её было некуда: там лежал Гунн.

– Тём, а Санычево лекарство, говоришь, изнутри лечит? – шёпотом спросил Стас.

– Ноги у тебя пока сухие. Терпи до Копани.

– Жмот ты, начальник.

Хаки рассказывал что-то шёпотом, долго, на одной ноте, и даже Тамми, кажется, был ему за это благодарен: под этот шёпот не так слышно было ветер.

Поделать с метелью всё равно было нечего. Её можно было только пересидеть. Я сидел и считал дни, которые она у нас съедает. До Ульва у нас было пять, теперь выходило семь, до Копани ещё неделя. А там развалины и обратная дорога, и всё это под распутицу, которая ждать не станет. Стас сидел рядом и тоже считал, по губам было видно.

– Два дня, – определил он наконец вслух.

– Два, если завтра кончится.

– А если не кончится?

Я не ответил. Бьорк, сидевший напротив, поднял голову и сказал что-то Тамми.

– Говорит, кончится, – перевёл Тамми. – В горах метель три дня не бывает. Два бывает, три нет.

– Почему?

Тамми спросил. Бьорк пожал плечами.

– Говорит, не бывает, и всё.

На второй вечер я держал жесть в темноте, на ощупь. Стас дал её мне в дорогу: обрезок в ладонь с его чертой, кругом. Держать я её мог сколько угодно, пока не вдыхал. На вдохе круг рвался там же, где он порвался на мокрой плите, и жесть под ладонью остывала. Траин, сидевший рядом, слушал жесть в темноте, наклонив голову к самой моей ладони. Наконец он что-то сказал Тамми.

– Выдыхай, – перевёл Тамми. – Говорит, под обвалом выдыхают. Вдыхают, когда тихо.

Я выдохнул. Круг держался, пока я выдыхал, а когда воздух кончился, я вдохнул, и круг ушёл опять. Траин отвернулся к брезенту, за которым выл ветер.

Под утро второй ночи ветер стих разом. Мы выползли из-под брезента в тишину. Скалы стояли белые, до половины в снегу, и над ними висели крупные звёзды.

Тогда-то и пришла виверна.

Сначала заржала Зина, коротко и страшно. Потом над санями прошла тень с кожистыми крыльями и хвостом, и Ёрш под попоной рванулся и сел на задние ноги. Тень развернулась у скалы, низко, без звука, и пошла обратно, прямо на коней, выставив вперёд лапы.

Гунн встал между ней и конями. Встал молча, с кайлом в руке, и, когда виверна была уже над ним, ударил кайлом о скалу со всей силы, раз и другой. Искры полетели снопом, камень загудел. Хаки рядом орал так, что эхо пошло по ущелью, Бьорк бил обухом топора в котелок, а Тамми размахивал лампой, которую успел зажечь, сам не знаю как.

Виверна отвернула. Прошла над нами так низко, что я почувствовал ветер от её крыльев, и пахнуло кислым, гнилым. Потом ушла вверх, к перевалу, и пропала среди звёзд.

Зина же дрожала до рассвета. Ёрш перестал дрожать раньше: ему, кажется, было не впервой. Гунн сидел у коней на корточках с кайлом на коленях и не ложился. Когда рассвело, я увидел на скале, там, куда он бил, две светлые выбоины, каждая с кулак.

– Тамми, откуда она?

– Голодная, – ответил Тамми, гася лампу, и подул на обожжённые пальцы. – Зима. Летом высоко, зимой низко. Огонь боится, кайло боится. Гунна боится.

Последнее, по-моему, он добавил от себя.

Полоз пригодился за перевалом, в первый же час после метели. Под свежим снегом на льду лежал камень, и наши сани наехали на него левым полозом, с хрустом. Железо на носке загнуло вверх. Стальное, думаю, лопнуло бы. Это загнулось, и только.

Гунн молча снял полоз, положил носком на плоский камень у берега, приставил кайло обухом и выправил несколькими короткими ударами. Бьорк пощупал выправленное ногтем, кивнул Гунну, и через четверть часа сани шли дальше. Запасной так и остался лежать под днищем.

– Рустам знал, – определил Стас, оглянувшись на камень.

– Рустам всегда знает. Молчит только, – ответил я.

В развалинах за Копанью шёл снег.

Он ложился на плоскую крышу дома без окон, на чистую полосу вокруг него и на следы, которые эту полосу пересекали: широкие, дворфьи, от улицы к двери и обратно, много раз. Зверь по этой полосе не ходил. Ходили теперь четверо.

Сидели они у двери на свёрнутых подстилках, в длинных кожухах, сшитых из лоскутов, и на коленях у каждого лежала кирка, длинная, на костяной рукояти. Бороды у всех четверых были в инее, руки в трещинах, и в трещины въелась земля, которую не отмыть. Костёр их горел далеко, у городской стены, под круглой башней, и сюда от него доносило только дым.

Дверь перед ними была серая, гладкая, без ручки и без щели для ключа. Не было щели и между дверью и косяком. Поэтому лом вгоняли снизу, в порог, под самый край двери, раз за разом, пока не выбили в камне ямку с палец глубиной, и теперь лом торчал из неё, согнутый.

Самый молодой поднялся, подошёл к лому и навалился на него всем весом. Лом скрипнул и согнулся ещё на палец. Дверь не шелохнулась.

Старший смотрел на это и не встал.

– Ждём, – сказал он.

Молодой отпустил лом и вернулся на подстилку. Лом так и остался в пороге.

Зимовье Ульва было на прежнем месте, наполовину в склоне, с плитняком на крыше и кучей угля под навесом, и дым из трубы шёл в небо столбом. Дошли мы до него на седьмой день, к вечеру.

Ульв вышел на крыльцо, когда сани ещё были внизу, у поворота. Узнал он нас издалека. Сначала Тамми и Зину, потом меня, а на Стаса посмотрел дольше всех, потому что Стас был до глаз в шапке, которую Тамми отдал ему ещё в начале дороги. На проходчиков он глянул

без удивления, зато на мохнатого Ёрша с интересом. Потом снял с головы свою шапку, потёр лоб и надел обратно.

– Без-бо-ро-дые, – выговорил он по слогам. – Ло-шадь. Та же.

Я похлопал Зину по шее, и Зина фыркнула на Ульва, узнав.

– Дра-кон?

– Дома, – ответил Стас из шапки. – Сытый.

Ульв кивнул и пошёл в дом открывать дверь шире.

В зимовье было жарко, как всегда, печь в полдома гудела, и в пристройке за стеной вздыхал и возился пуховой ящер. Проходчики разулись у двери и сели на пол вдоль стены, все четверо, и Ульв, глядя на них, поставил котёл с кашей на середину пола, а не на стол. Хаки сказал ему что-то длинное. Ульв буркнул что-то в ответ, и Хаки умолк, чего с ним в дороге ещё не случалось. Тамми потом перевёл: Ульв сказал, что погода в Хорне ему не нужна, у него своя есть.

В ящик у двери я бросил пять резаней, за уголь и за то, что было в прошлый раз. Ульв, как и тогда, не смотрел.

Пока мы ели, Ульв поглядывал в окно на наши сани, на подбитый железом полоз, и вдруг заговорил с Тамми по-дворфьи, долго, без слогов, своим голосом, которого по-людски мы у него не слышали. Тамми перестал есть.

Тогда Тамми пересказал, медленно, подбирая людские слова и путаясь, а Стас записывал на свой лист, под Славиковым словом.

Неделю назад у Ульва ночевали четверо. Пришли с севера, со стороны Копани, налегке, без саней, у каждого мешок за плечами и длинная кирка, на костяной рукояти. Уголь брали и платили за уголь честно, в ящик, Ульв потом видел. Ели своё. Говорили по-дворфьи с выговором, какого Ульв не слышал ни у копанских, ни у хорновых. И спрашивали. Не пойдут ли зимой через перевал безбородые из Ржавого Дола. И когда. И на чём, на санях или пешком. И сколько их.

Ульв им сказал, что безбородых он видел, и не раз, и что дракон у них сытый. Больше он ничего не знал, ничего и не сказал. Тогда четверо переночевали и утром ушли назад, на север, туда же, откуда пришли.

– Кирки, – переспросил я. – Длинные?

Ульв понял слово и показал руками. От пола до своего плеча, и рукоять толще его пальца, белая.

Бьорк, сидевший у стены, поставил миску на пол.

Длинные кирки на костяной рукояти я видел у двоих наёмных с Кряжа, которые пришли к нам летом. Один пробовал свою плиту на нашей отдающей, плита не взяла, и через несколько дней он ушёл ночью, на восток, к Гвоздю, не дождавшись расчёта. Второй остался и копает с бородами до сих пор.

Стас посмотрел на меня через печь. Ничего не сказал, только перестал писать.

Ночью проходчики уснули у стены рядком, и Хаки во сне тоже что-то рассказывал. Тамми Ульв уложил на лавку. Тогда я вышел к саням. Ночь выдалась ясная и тихая, и где-то в скалах ухнула виверна, далеко, один раз. Гунн, оказывается, тоже не спал: сидел у коней в пристройке на корточках, с кайлом на коленях, и, когда я заглянул, поднял на меня глаза и ничего не сказал.

Утром, когда сани уже стояли запряжённые, Ульв вышел на крыльцо с шапкой в руках. Шапка была та, что вчера сидела на нём, из меха, вытертого до кожи на макушке, с ушами до плеч. Он отдал её Тамми, молча, и, пока Тамми не понял, что это ему, держал её на вытянутых руках.

– Холодно. Наверху, – выговорил Ульв, по слогу на каждое слово, и подождал, понял ли Тамми.

Тамми надел шапку. Уши закрыли ему всё лицо, и наружу торчала только борода. Хаки, увидев это, засмеялся первым, за ним Гунн, беззвучно, одними плечами.

– Эх, телефон бы сюда, – простонал Стас. – Это ж обложка.

Ульв постоял на крыльце, пока сани не тронулись. Потом вскинул руку, раскрытой ладонью к нам, и сказал по-людски напоследок, медленно, считая на пальцах, чтобы не ошибиться:

– Чет-ве-ро. Не-де-лю.

Четверо прошли неделю назад.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.